

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Базылев В.Н.
Москва, Россия

ПОЛИТИКА И ЛИНГВИСТИКА:
«В начале было «Слово...»»

Bazylev V.N.
Moscow, Russia

POLITICS & LINGUISTICS:
«In the Beginning was «The Word...»»

УДК 81'27
ББК Ш 100.3

ГЧТИ 16.21.27
Код ВАК 10.02.19

Аннотация. Статья посвящена анализу российско-советской научно-популярной исторической дискурсивной практике, в которой конструирование догмы официального патриотизма обусловлено языковым посредничеством. Обсуждается феномен успешности подобных обществу значимых практик, который обеспечивается равносильными средствами создания псевдоисторических текстов идеологически ориентированными писателями, филологами-дилетантами и историками-любителями.

Ключевые слова: дискурсивные практики, псевдоисторический текст, язык официальной патриотической догмы.

Сведения об авторе: Базылев Владимир Николаевич, доктор филологических наук, профессор.

Место работы: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Москва).

Контактная информация: 123056, Москва, ул. Красина, д. 7, кв. 126.
e-mail: vladimir@4unet.ru.

Abstract. The article is an attempt at a critical analysis of some discursive practices of Russian historical public language belonging to the Russian and Soviet political discourse. The construction of the language of official patriotism was an important aesthetic intervention in the language. The success in pseudo-historical texts can be attributed to a multi-faceted approach on the part of an ideological writer, a self-taught philologist and an amateur historian. The patriotic dogma has been elaborated through a quite fantastic linguistic theory and a no less mythologized theory of Russian and Soviet history.

Key words: discursive practice, language of official patriotism, pseudo-historical texts.

About the author: Bazylev Vladimir Nikolayevich, Doctor of Philology, Professor.

Place of employment: The Pushkin State Russian Language Institute (Moscow).

Современная культура пытается вырваться из замкнутой вселенной исторических и языковых символов. И все потому, как напишет Н.Е. Копосов, что «история дана нам, прежде всего, хотя и не исключительно, в лингвистической форме, и для ее понимания необходимо пройти через уровень лингвистического анализа... Однако изучение языковых механизмов на каждом шагу ведет нас за пределы языка, обнаруживая взаимодействие лингвистических и нелингвистических механизмов» [Копосов 2001: 25; Копосов 1997: 33]. Или, как скажет М. Веллер: «Истории неведома благодарность, но свойственно отмщение. Не присуща честность, но мил миф. В ней нет справедливости, но скрыт смысл... По русской традиции читать между строк и разгадывать ребусы власти мы видим то, что нам не показывали, слышим то, чего нам не говорили, и знаем то, чего не происходило» [Веллер 2009: 3]. Разве это удивительно в той замкнутой вселенной символов, в которой мы живем? Совсем нет. Разве символ трудно создать? Совсем нет.

Напомню мало кому известный исторический анекдот: любопытную историю из своей студенческой юности вспоминает А.А. Фет в своей книге 1893 года «Ранние годы моей жизни»: «...в числе других посетителей григорьевских антресолей был любезный правовед Калайдович, сын покойного профессора и издателя песен Кирши Данилова. Молодой Калайдович не только оказывал горячее сочувствие моим стихам, но, к немалому моему удовольст-

вию, ввел меня в свое небольшое семейство, проживающее в собственном доме на Плющихе. Через молодого Калайдовича я познакомился с его друзьями: Константином и Иваном Аксаковыми. Однажды, начитавшись песен Кирши Данилова, я придумал под них подделаться, и мы с Калайдовичем решили ввести в заблуждение любителей и знатоков русской старины братьев Аксаковых. Отыскав между бумагами покойного отца чистый полулист, Калайдович постарался подделаться под руку покойного, передал рукопись Константину Сергеевичу, сказав, что нашел ее в бумагах отца, но желал бы знать, можно ли довериться ее подлинности. В следующий мой приход я с восхищением услышал, что Аксаков, прочитав песню, сказал: «Очень может быть, очень может быть; надо хорошенько ее разобрать». Но, кажется, в следующее затем свидание Калайдович расхохотался и тем самым положил конец нашей затее» [Фет 1983: 52].

Но так ли безобидны подобные затеи в культуре и для культуры, если они воспринимаются серьезно и служат каким-то политическим целям, в том числе сохранению этнической идентичности в плане языка и истории? Конечно же нет. Истинное лингвистическое знание, немислимо без того, что составляет его фундамент и остоу – без достоверных фактов, извлекаемых из исторических источников, прежде всего из письменных документов, – будь то летопись, государственный акт, письмо, мемуары. Со временем они утрачивают свое зна-

чение с точки зрения задач, решавшихся в момент их создания, но тогда они становятся фрагментом ретроспективной социальной памяти, помогают сохранять этническую идентичность. В противном случае грань, отделяющая символическое от знакового, разламывается, и символические основания этнической идентичности переводятся в план воображаемого. Проще всего это осуществляется с использованием литературы и фольклора. Это давно и тщательно разрабатываемое направление филологии, литературоведения и текстологии [Уайтхед 1986; Масанов 1940; Берков 1965; Ланн 2009; Рукописи... 2002; Попова 1992].

Меньше внимания лингвистика пока уделяла нелитературным фальсификациям: взаимосвязи политики и лингвистики не лежат на поверхности, они требуют специальных приемов фиксации, описания и интерпретации. Наша статья посвящена именно вопросам интерпретации политически актуальных или политизированных фальсифицированных исторических текстов с лингвистической точки зрения обусловленности их возникновения и бытования в культуре

Фальсификация исторических источников – это создание никогда не существовавших документов либо подправки подлинных документов, что связано с целой системой различных приемов и способов, как об этом пишет В.П. Козлов [1996: 4]. И в том и в другом случае налицо сознательный умысел, рассчитанный на общественное внимание, желание с помощью полностью выдуманых фактов прошлого или искажения реально существовавших событий «подправить» историю, дополнить ее несуществующими деталями в интересах, как совсем еще недавно говорили, текущего политического момента. Хорошо, когда фальсификации вовремя разоблачаются, но бывает и так, что они живут, порождая новые мифы, расстаться с которыми отдельным людям и обществу в целом бывает порой очень трудно.

Приведу пример того, о какого рода текстах пойдет речь. К началу XIX в. относится изготовление «указа» царя Алексея Михайловича от 18 мая 1651 г. «Указ» известен в четырех списках XIX в., один из которых относится к 1814 г., то есть возникновение «указа» можно отнести ко времени не позже 1814 г. Стилизованным под «древность» языком в нем говорилось, что в Москву начали прибывать разные еретики-немцы и просить царской службы. «И мы, – продолжал указ, – собра архиепископы, архiereи, архимандриты и иереи на думу», где решили «оних сукиных детей немцев на воеводство не посылать», а только «в службу нашу царскую вступать по нужде, в ратную». Политический подтекст этой подделки был очевиден – это был протест против иностранного засилья в бюрократическом аппарате России. Ее автор изобрел актуальный и для XVIII в. и для начала XIX в. «исторический прецедент», на который обращалось внимание современников. «Указ» в

силу своей злободневности получил широкое распространение, волнуя патриотически настроенных читателей своей категорической решительностью – не назначать иностранцев на должности, и известной государственной хитростью – использовать иностранцев в ратной службе [Лихачев 1913: 87].

Именно т.н. патриотизм приводит к тому, что в письменной культуре общества с завидным постоянством появляются тексты, отстаивающие те или иные государственные приоритеты – территориальные, интеллектуальные и пр. Так, в начале 50-х годов XX века советская общественность заинтересовалась работами уже известного в то время писателя-мариниста Константина Бадигина, посвященных истории российского мореплавания и российских географических открытий. Одна из них была издана в двух январских номерах газеты «Красный флот» за 1951 г. Говоря о плаваниях россиян в начале XV в. на Новую Землю и в Карское море как о вполне само собой разумеющемся деле, К. Бадигин впервые упомянул для подтверждения своей точки зрения целый ряд дотоле никому не известных источников. Он писал, что ему известен весьма древний документ, относящийся к первой половине XV в. Год спустя он был опубликован в качестве специальной главы исторического очерка «Русские северные мореходы», приложенного к его повести «Путь на Грумант», изданной 90-тысячным тиражом. Рукопись фигурирует под заголовком «Си книги оуставець акияна моря русьского и воде и ветром. Хожение Иванново Олельковича сына Ноугородца». Впервые здесь приводились более подробные сведения и о происхождении рукописи. По словам К. Бадигина, она когда-то хранилась в Анзерском скиту, во втором десятилетии XX в. оказалась в библиотеке Соловецкого монастыря, где была частично скопирована писателем Б.В. Шергиным. Он-то и поделился своей находкой с автором. Сообщает К. Бадигин и более подробные сведения о самой рукописи. По его словам, в ней находится рассказ о встрече Ивана Новгородца с основателем Соловецкого монастыря Савватием и скорой смерти последнего. Это позволяет датировать памятник первой половиной XV в., поскольку известно, что Савватий умер в 1435 г. Из дальнейшего рассказа К.Бадигина и приводимых им цитат ясно, что «Хождение» Ивана Новгородца представляло собой сложный в жанровом отношении исторический документ. Это были одновременно автобиографические записки, мемуары, древняя лоция, лирическое произведение, описывающее северные морские красоты, записки рассказов об опыте мореплавания, этнографические зарисовки северных народов.

Приведенные К. Бадигиным цитаты рисовали яркую картину ледовых плаваний древних россиян, их пылкий ум, жажду познаний, мужественную, подчас смертельно опасную дея-

тельность по освоению северных морских просторов. Комментируя ряд выписок, К. Бадигин старательно пытался извлечь из них сведения, напрямую относящиеся к теме его исследовательских интересов. По его словам, сочинение Ивана Новгородца замечательно тем, что дает возможность определить район ранних плаваний россиян на восток и на запад от Белого моря, характер их гидрографических работ, технологии ледового судостроения, искусство судовождения и т.д. Все это позволяло К. Бадигину сделать ряд важных выводов, касающихся древнерусской морской культуры: Иван Новгородец и его предки намного опередили иноземных путешественников в освоении Арктики – строили корабли, превышавшие размерами, технической оснащенностью, скоростными качествами западноевропейские суда.

Как выяснилось позже, «сочинение» К. Бадигина являлось подлогом [Козлов 2001: 78]. Но, что интересно, подлогом не столько собственно литературного плана, а, скорее, формата политического. Историко-филологическое «творение» К. Бадигина оказалось своеобразным продуктом эпохи жизни его автора. На рубеже 40-50-х годов оно было востребовано и стало одним из элементов той официальной политической идеологии, которая в борьбе с так называемым космополитизмом и в противовес ему развернула шумную кампанию об исторически значимых национальных приоритетах, действительных и мнимых, в различных областях знаний. В этих условиях достаточно было лишь минимального умения стилизации современного языка под «древнерусский», элементарных исторических познаний, в том числе в области древнерусской литературы и реалий XIII-XV вв., чтобы облечь действительные и фантастические представления и домыслы о древнерусской морской культуре в оболочку исторического источника, игнорируя возможные последствия строгого критического анализа.

Парадоксальность советской и постсоветской культуры заключается, однако, в том, что, несмотря на критику, подобные лингвополитические «изыскания» и создаваемые авторами тексты живут и в наши дни, ложно ориентируя неподготовленного читателя, служа поводом для «сенсационных» открытий, порождая самые фантастические домыслы недобросовестных популяризаторов исторических, политических и идеологических идей за счет языковой игры. Конечно же, любая фальсификация исторического источника является не просто результатом в той или иной мере удачной или неудачной языковой игры и фантазии ее автора. Подделка не появляется случайно. И не случайно востребуется обществом. Фальсификация пытается убедить современников и потомков в истинности представлений о прошлом и настоящем, воздействовать вымышленными фактами прошлого на умы и чувства. Как напишет В.П. Козлов: «Во всякой подделке исторического

источника как вымысле есть правда – правда самого вымысла» [Козлов 1996: 9]. Интересен и еще один аспект – языковая техника их изготовления. Как удается автору фальсификации выдавать свое изделие за подлинный документ, насколько искусны по понятиям его времени и с точки зрения современных филологов внешние признаки подделок, их содержание – какие политические задачи документ решал?

Обратимся в качестве иллюстрации сказанного еще к одному эпизоду, который достаточно наглядно показывает, как человек серьезно готовился с позиций филологической «подкованности» к реализации своих планов. Речь пойдет о В.И. Анучине, который на протяжении всей своей жизни вводил в научный и общественный обиход страны свою «переписку» с Лениным и Горьким [Козлов 2001: 62]. Он позволил себе однажды на склоне лет «посмеяться» над своими советскими современниками. 20 декабря 1940 г. он написал в редакцию журнала «Сибирские огни» замечательное письмо. Внимательно вчитаемся в некоторые его строки: «Когда лет 7-8 тому назад Истпарт предложил мне написать воспоминания о встречах и совместной работе с видными революционерами, я охотно принял это предложение. Будучи не подготовлен к подобной работе, я решил подковаться в отношении техники и засел за штудирование разных авторов, писавших воспоминания. Проработал около двадцати книг – и у меня навсегда пропало желание писать воспоминания. Все эти мемуары, все без исключения, страдают одним и тем же тяжелым пороком. Всегда получается так, что воспоминатель, нередко третьестепенная величина во всех отношениях, оказывается обязательно в центре, а вокруг него начинают вращаться, как планеты вокруг Солнца, таланты, знаменитости и крупные люди. Получается претенциозно и комично. Второе соображение: воспоминания – несомненно труднейшая литературная форма. В них неизбежно выявляются отношения автора к воспоминаемому лицу. На мой взгляд, воспоминания нужно писать так, чтоб в отношении, скажем, любимого персонажа в книге не было ни похвалы, ни комплиментов, ни панибратского похлопывания по плечу, но чтоб в то же время читатель чувствовал теплое, любовное отношение к данному лицу. Какой-то внутренний согрев нужен» [цит. по: Линецкая 1963: 166]. О чем говорили читателю эти строки? С неожиданной для 1940 г. смелостью В.И. Анучин заявляет, что по меньшей мере двадцать опубликованных книг о революционном движении в России не заслуживают никакого доверия. Такое заключение – это приговор той официальной мемуарной историографии, которая пыльным цветом расцвела в годы сталинизма. Между строк В.И. Анучин свидетельствует о том, что он будет действовать так же цинично, но в более цивилизованных формах. Подлог истории, подлог прошлого он мечтает осуществить

не в уязвимой мемуарной, а в более изощренной форме: он искал и нашел эту форму. «Переписка» Анучина с Лениным и Горьким – продукт не только честолюбивых и меркантильных интересов автора фальсификации. Это – циничный продукт эпохи, в которой жил фальсификатор, судя по всему, далеко не глупый человек, понявший, что его эпоха востребовала ложь, но не желавший, чтобы она была примитивной или, во всяком случае, облекалась в примитивную форму. Это, наконец, и способ самозащиты человека со сложной судьбой и характером от тоталитарного государства [Никитин 1993: 247].

Не менее изощренную филологическую подготовку обнаруживает и лингвоисторическое «творчество» еще одной довольно яркой советской общественно значимой фигуры второй половины XX века – А.А. Раменского. Даже сегодня нельзя не отдать должного его способностям и начитанности, знаниям в области истории. Всего лишь один, но очень показательный штрих. В литературе о Н.М. Карамзине вплоть до выхода книги Н.Я. Эйдельмана практически никогда не фигурировала небольшая публикация, посвященная судьбе архива историка, хранившегося в большом сундуке в одном из имений Нижегородской губернии. В фальсификациях Раменского мелькает «сундук Карамзина», с которым мечтал познакомиться Пушкин, – факт, примечательный для характеристики познаний А.А. Раменского. Эти знания и дали ему возможность изготовить подлоги, в высшей степени изящные и изощренные по своему содержанию, придумать хитроумные версии их бытования и обнаружения. Его фантазии оказались масштабны по географии и хронологии охвата событий и людей. Франция, Турция, Польша, Болгария, Венгрия, Соединенные Штаты Америки, события XIX, XVIII и даже XIV вв., Авраам Линкольн, Ленин, Горький, Островский и т.д. – все это было систематизировано, продумано и уложено в сложную схему истории учительской династии Раменских [подр. см. Козлов 2001: 137; Маковеев 1985: 218]. Быть может, именно эти масштабы, поражая слушателей и читателей, заставляли их верить и восхищаться общественно значимой деятельностью потомка учительской династии, которая в той ли иной мере соприкасалась с мемуаристом и ученым А.Т. Болотовым, революционером и публицистом А.Н. Радищевым, историком Н.М. Карамзиным, писателем И.И. Лажечниковым, художниками О.А. Кипренским и А.Г. Венециановым, политическими и общественными деятелями – М.А. Бакуниным, С.Л. Перовской, А.И. Желябовым, М.В. Фрунзе, Д.И. и М.И. Ульяновыми. Последний из рода, А.А. Раменский, оказался особенно востребован системой, которая в своих воспитательных потугах желала взрастить героев-созидателей, строителей светлого коммунистического завтра. Ради этого система создавала тот образ прошлого, который отвечал ее

идеалам. Ради этого она откровенно лгала и создавала мифы. Именно поэтому сам А.А. Раменский востребовал эту систему. Искренне или нет, но он ловко воспользовался ею для легализации своих подлогов. Может быть, он, работая с книгами и первоисточниками, осознал мифологичность истории своего Отечества, созданной партийными идеологами, и потому цинично и смело начал дополнять ее вымышленными фактами и людьми. Возможно и наоборот: именно такая история составила основу его искренних убеждений и чувств – не случайно в его подлогах фигурируют исключительно официально признанные герои и события, не случайно только после реабилитации Тухачевского он начинает прорабатывать его «след» в истории рода. Как бы там ни было, но именно на основе и с помощью существовавших официальных взглядов на прошлое он начал создавать и легализовывать свои подлоги. Мотивы поведения А.А. Раменского многообразны. В них, конечно, был свой меркантильный интерес. Всеобщее внимание, уважение и почет – вещи, не самые последние для человека вообще и тем более – в советском обществе XX века. И все же было в этом что-то от наивной фантазии, едва ли не детского желания приноровить себя через свой род к истории Отечества. Люди осваивали космос, страна начала забывать раны страшной войны, народ строил будущее и мечтал о нем. И тогда «маленький» человек начал создавать легенду, таким способом запечатлевая память о себе в истории. Но феномен их бытования – это уже загадка его современников. Магия веры или магия мифа словно окутывали романтическим покрывалом большинство тех, кто имел дело с его подлогами. «Рассказы» А.А. Раменского буквально гипнотизировали современников, помогавших потом ему творить мифы. Не было истинного знания, были вымыслы, которые старательно излагались печатно. Советский исторический китч торжествовал на вере, которую он остроумно использовал.

Как видим, идеологический подтекст ряда подделок говорит о том, что их изготовление было далеко не всегда безобидными «древностелюбивыми проказами», как выразился однажды в отношении фальсификаций А.И. Сулакдзева великолепный знаток русских письменных памятников Евгений Болховитинов. Политический смысл таких подделок, как «завещания» Петра I, Елизаветы Петровны, преследовал задачи, реализация которых могла повлиять на судьбы империи, на международные отношения в Европе. Эти подделки, как можно убедиться на примере трагической истории «принцессы Володомирской», затрагивали и людские судьбы [Козлов 1996: 248].

Российские исторические корни этой, в том числе и современной, как мы могли убедиться, культурной «страсти» – «открытие» никогда не существовавших памятников письменности, безудержное, прямо-таки маниакальное «ис-

правление» подлинных памятников, следует искать в общественной и научной атмосфере первых десятилетий XIX века. Начало века было ознаменовано замечательными открытиями в славянской и русской литературе и письменности: в 1800 г. вышло в свет первое издание «Слова о полку Игореве», спустя три года стал известен Сборник Кирилы Данилова, еще через четыре-пять лет – Остромирово Евангелие. На страницах периодики появились сенсационные известия о книгах Анны Ярославны, «древляньских рукописях», писанных руническими буквами, славянском кодексе VIII в., обнаруженном в Италии, и т.д. Все эти подлинные и мнимые открытия будоражили умы современников. Казалось, что прошлое Отечества, все больше и больше отодвигаясь в глубь веков, начинает щедро приоткрывать свои тайны. Энтузиазм первооткрывательства неизвестных источников поддерживался оптимизмом, надеждой и даже уверенностью, что от взора исследователей скрыто еще немало памятников, способных перевернуть все исторические знания.

Социальные явления, изменения в языковой теории и практике, особенно в начале XIX в., предопределили и еще один мотив действий людей той эпохи в случае «Песни Мстиславой» П.Ю. Львова, «Сказания о Руси и о вещем Олеге» Д.И. Минаева, сочинений И.П. Сахарова и др. Литературная и языковая старина становится полем сражения разных течений русского политико-литературно-языкового процесса. Подделка включаются в это сражение не только как признак обновления литературных жанров, языка, стилей, но, главным образом, как фактор, обуславливающий приверженность к извечно молодой, не утрачивающей своей важной роли старине. Стилизации под «древность», под исторические источники современных произведений, близкие уже к жанру литературных мистификаций, отразили многие из тех сложных явлений, которые появлялись в русском общественном сознании.

Красноречивым образчиком этих процессов может послужить «Опыт древней и новой летописи Валаамского монастыря», созданный А.И. Сулакадзевым [Козлов 1996: 155]. Основу этого сочинения составил труд иеромонаха Мисаила «Историограф Валаамского монастыря, или Разуiskание о его древности и показание настоящего его положения». В «Опыте» наряду со ссылками на подлинные источники широко цитируются «Гимн Бояну», в котором обещается воспеть Невское (Ладожское) озеро, «вселетник» митрополита Иллариона с рассказом о перенесении в 1050 г. с Валаама в Новгород мощей преподобных Сергия и Германа и путешествии Андрея Первозванного на Валаам. В «Опыте» А.И. Сулакадзев впервые привел и выписки из «древо-славянских проречений на пергамине V в.», где говорилось, что Андрей Первозванный «от Иерусалима прошел Голяд, косог, Роден, скеф и скиф и славян смежными

лугами». Иначе говоря, в работе Сулакадзева по истории Валаамского монастыря речь идет о важных «свидетельствах» давней истории духовной обители Севера. Более того, автор «Опыта» сослался на принадлежащую ему рукопись «Оповеди». В ней, по его словам, рассказывается о возникновении Валаамского монастыря в X в. и о крещении тогда же преподобным Сергием некоего лица «во имя Куанта». А.И. Сулакадзев привел из «Оповеди» и рассказ о путешествии на Валаам Андрея Первозванного, который поставил здесь крест и «мужа камня содела». Примечательно, что этот «труд» А.И. Сулакадзева оказался востребован административной системой Николаевской России. В 1841 г. ее данные вошли в «Материалы для статистики Российской империи», в 1852 г. в книге «Остров Валаам и тамошний монастырь» она преподнесена как зафиксированная достоверное «местное предание» о существовании на острове уже в X в. иноческой обители, основанной преподобным Сергием, греком по происхождению, от которого принял крещение Герман, в язычестве называвшийся Мунгом. В четырех первых изданиях «Описания Валаамского монастыря», начиная с 1864 г. и вплоть до 1904 г., когда вышло пятое издание, «Оповедь» использовалась как подлинный исторический источник. А не так давно ее опять попытались ввести в круг исторических свидетельств: «Журнал Московской Патриархии» со ссылкой на нее упомянул о пребывании в Карелии Андрея Первозванного, советский историк В.Б. Вилинбахов сослался на это сочинение, как подтверждающее путешествие Андрея Первозванного на Валаам [Журнал... 1974: 4].

«Опыт» А.И. Сулакадзева, написанный им, очевидно, накануне прибытия в Валаамскую обитель в 1819 г. Александра I, пришелся по сердцу церковнослужителям, особенно Валаамского монастыря. Во-первых, в нем «документально» подтверждалась легенда о приходе на Русь Андрея Первозванного. Вокруг легенды бушевали страсти, причем ее опровержение рассматривалось подчас, говоря словами известного публициста и общественного деятеля начала XIX в. В.Н. Каразина, как «легкомысленные усмешки кощунов над религией». Во-вторых, сочинение А.И. Сулакадзева подтверждало древность Валаамского монастыря, его знатность и богатство в прошлом. С помощью фальсифицированных источников А.И. Сулакадзев доказывал в своем труде, что Валаам издревле был заселен не карелами и финнами, а славянами, создавшими здесь государство двенадцати князей по типу новгородского, имевшее связи даже с римским императором Каракаллой. «Опыт» имел вполне определенную идейную направленность. Он оказался несвободным и от примитивного угодничества. Об этом свидетельствует тот факт, что в выдуманном маршруте путешествия Андрея Первозванного А.И. Сулакадзев упомянул о местечке Дроутино,

трактуя его как «Грузино». Дело в том, что в селе Грузино находилось имение графа А.А. Аракчеева. Легендарное известие Степенной книги о путешествии Андрея Первозванного с упоминанием «Друзино» с именем всеильного временщика попытался соединить не только А.И. Сулакадзев, но и В.Н. Каразин. В 1816 г. он в письме к Аракчеву сообщал об этом «великой важности» известии, полагая, что оно дает «селу сему преимущество пред всеми селами и городами Российской империи». «Не говорю, – заключал Каразин, – чтобы оный анекдот был для нас в нынешнее время столько же достоверен, как, например, события при Петре Великом и при Екатерине Второй, – историческая истина не бывает математическою. Довольно, что он весьма вероятен, что он не противоречит ни разуму, ни истории..., что его нельзя проходить молчанием или отвергать, яко очевидное изобретение» [цит. по: Козлов 1996: 175].

Исходя из общественной значимой социальной логики эпохи возникла рукопись «О воздушном летании в России с 906 лета по Р. Х.» того же А.И. Сулакадзева. К «воздушным летаниям» в ней он отнес даже данные фольклорных записей Сборника Кирши Данилова, например о полете Змея Тугариновича. Старательно штудировав публикации древнерусских источников, он выписывал из них все, что хотя бы в малейшей степени имело отношение к полетам – будь то сказание, легендарные сюжеты или реальные факты, имевшие место в прошлом. В рукописи есть данные о попытках воздушных полетов в России в XVIII в., извлеченные Сулакадзевым из дел рязанской воеводской канцелярии, а также ссылки на записки его деда Боголепова. Аккуратно написанная, с минимальным числом поправок, рукопись Сулакадзева производит впечатление вполне добросовестного свода таких свидетельств. Благодаря наличию ссылок на использованные при ее подготовке материалы можно легко проверить каждый приводимый Сулакадзевым факт о воздушных полетах в России. Исключение составляют лишь дела Рязанской воеводской канцелярии и ныне неизвестные записки Боголепова. Приведем несколько образцов таких записей Сулакадзева. «992 года Тугарин Змеевич вышиною 3-х сажень, умел палить огнем. У Сафат реки замочило Тугарину крылья бумажные. Падает Тугарин со поднебеси. – Древние российские стихотворения, 1804 г.»; «1724 года в селе Пехлеце Рязанской провинции: приказчик Перемышлева фабрики Островков вздумал летать по воздуху. Сделал крылья из бычачьих пузырей, но не полетел... Из записок Боголепова»; «1745 года из Москвы шел какой-то Карачевец и делал змеи бумажные на шестинах, и прикрепил к петле. Под него сделал седалку и поднялся, но его стало кружить, и он упал, ушиб ногу и более не поднимался. Из записок Боголепова» [цит. по: Козлов 1996: 180]. Эту работу А.И. Сулакадзева обнаружил в библиотеке из-

вестного коллекционера Березина-Ширяева историк воздухоплавания А.А. Родных. В 1901 г. он приобрел ее у наследников Березина-Ширяева и затем опубликовал в журнале «Россия». Публикация не привлекла особого внимания. Зато спустя девять лет, когда все тем же Родных труд Сулакадзева был опубликован вторично, теперь уже фототипически, он получил более широкий резонанс: в том же году фотокопии отдельных страниц рукописи были выставлены в Мюнхенском музее истории науки и техники. В опубликованной рукописи сенсационным оказалось известие о том, что «1731 года в Рязане при воеводе подьячей нерехтец Крякутной фурвин сделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него зделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила его о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив, его выгнали из города, он ушел в Москву и хотели закопать живого в землю, или сжечь. Из записок Боголепова». Особый интерес к этой записи вполне понятен: речь шла о первой отечественной попытке устройства воздушного шара и полете на нем, попытке, опередившей более чем на пятьдесят лет аналогичные опыты братьев Монгольфье. Именно так сулакадзевское известие и было интерпретировано в предисловии Родных, подчеркнувшего, что Россия имела славные страницы в истории воздухоплавания, опережала в этом деле другие страны, но к началу XX в. оказалась в числе отстающих из-за препятствий, чинимых энтузиастам воздушных полетов. Тетрадь Сулакадзева «О воздушном летании в России» стала использоваться как вполне авторитетное первое справочное пособие по истории отечественного воздухоплавания. Долгое время не вызывало никаких сомнений и приведенное здесь известие о полете Крякутного. Его имя вошло в одно из изданий Большой Советской Энциклопедии в пору борьбы с «космополитизмом» он стал национальным героем, утвердившим отечественный приоритет в воздухоплавании. 225-летнему юбилею «полета» Крякутного была посвящена специальная почтовая марка, в Нерехте у памятника подьячему принимали в пионеры. В работе историка русской науки и техники Б.Н. Воробьева сообщение тетради Сулакадзева уже дополнялось новыми драматическими подробностями атеистической направленности. «Необходимо, – писал он, – разыскать... документ из истории русского воздухоплавания, хранившийся до 1935-1936 гг. в одной из церквей города Пронска (Рязанской области). В этой церкви хранилась особенная книга, относящаяся к XVIII в. По ней в известные дни провозглашалась «анафема» (проклятие) согрешившим чем-либо против религии. В данной книге в числе подлежавших анафеме значился и подьячий Крякутной, совершивший «греховную» попытку летать» [Воробьев 1952: 127].

В сферу научного изучения тетрадь Сула-

кадзева с записью о Крякутном вновь попала в начале 50-х гг. нашего века, когда она поступила в Рукописный отдел Библиотеки Академии наук СССР. Тетрадь оказалась как нельзя кстати в связи с развернутой тогда работой над фундаментальным изданием сборника документов «Воздухоплавание и авиация в России до 1917 г.». При непосредственном знакомстве с рукописью составители сборника и сотрудники Библиотеки Академии наук обнаружили исправление в записи о Крякутном. Результаты фотоанализа показали, что первоначально здесь вместо «нерехтец» читалось «немец», вместо «Крякутной» – «кршеной» (то есть крещеный), вместо «фурвин» – по всей видимости, фамилия крещеного немца – «Фурцель». Итак, первоначальная запись, оказывается, имела совсем иной смысл: некий крещеный немец, по имени Фурцель, поднялся в Рязани на воздушном шаре, наполненном дымом. Прочитанная заново подлинная запись, конечно, наносила болезненный удар по патриотизму составителей сборника «Воздухоплавание и авиация в России до 1917 г.». Приходилось выбирать: или в интересах науки прямо сказать, что не существовало подъячего Крякутного, или, как в свое время Родных, умолчать об имеющихся в рукописи исправлениях. Составители нашли иной и прямо-таки достойный восхищения выход: в примечании к публикации записи о Крякутном они невинно заметили, что в «записи за 1731 г., рассказывающей о подъеме рязанского воздухоплателя (все так – и Фурцель, и Крякутной могут быть названы «рязанским воздухоплателем»), имеются некоторые исправления, затрудняющие прочтение части текста, относящейся к лицу, совершившему подъем» [цит. по: Козлов 1996: 184].

Как видим, мифологическое восприятие прошлого присутствует и в сознании людей, профессионально занимающихся теми или иными социально значимыми вопросами истории России: и в этом случае идол мифа подчас уступает место идолу концепции. Очень трудно избавиться от фактов из документа, «вписывающихся» или эффектно подтверждающих концепцию, сложившуюся на основе изучения подлинных и достоверных источников. В этом случае все получает концептуальную обоснованность. Как и в любом общественном явлении, здесь сталкиваются личности с их страстями, помыслами, увлечениями, знаниями. Правда, в какой-то момент это создает ощущение тупика, в котором оказывается практически-политическое знание той или иной эпохи: в нашем случае в России это повторяется с удивительной закономерностью [Касавин 1998: 47]. Существенную роль в том ощущении тупика – социального и политического – играет тот факт, что проблема подлинности того или иного считающегося первичным текста культуры ставится под сомнение, перестает быть научной проблемой и густо обрастает ненаучными

обертонами и политическими коннотациями [Касавин 2008: 208].

В 2008 году на прилавках книжных магазинов страны появляется переиздание книги С. Лесного (Сергей Лесной – литературный псевдоним советского историка-эмигранта Сергея Яковлевича Парамонова (1898-1968)) с характерным названием «Златое слово Руси. Крах антирусских наветов». Приведем цитатную цепочку из этой работы: «Не поняли они нашей национальной гордости..Филологи в силу вполне понятных причин не поняли всего в «Слове»... В их глубоком анализе эпохи и среды недостает только ссылки на зарождающийся капитализм, на начинающийся упадок феодализма в связи с зарождением пролетариата и цитаты из Карла Маркса, – тогда все будет в порядке... Хуже всего то, что в вопросе о «Слове» объединились русские всех цветов: белые, красные и зеленые, – очевидно их единодушие имеет под собой более солидную почву, чем даже политические разногласия...» [Лесной 2008: 86-87, 126-129]. Не менее определенно о политизации дискуссии вокруг текста «Слова» высказался и А.А. Зализняк: «В советскую эпоху версия подлинности «Слова» была превращена в СССР в идеологическую догму. И для российского общества чрезвычайно существенно то, что эта версия была и продолжает быть официальной, а версия поддельности «Слова» – крамольной. В силу традиционных свойств русской интеллигенции это обстоятельство делает для нее крайне малопривлекательной поддержку первой и психологически привлекательной поддержку второй. А устойчивый и отнюдь еще не изжитый советский комплекс уверенности в том, что нас всегда во всем обманывали, делает версию поддельности «Слова» привлекательной не только для интеллигенции, но и для гораздо более широкого круга российских людей. Сама тональность большинства работ советского периода по «Слову» такова, что читателю, и тогдашнему, и нынешнему, трудно воспринять их иначе как пропагандистские сочинения, созданные для внушения заранее заданной идеи. Естественной реакцией на все, что преподносится в такой тональности, является психологическое сопротивление. Отчетливо отрицательное впечатление производят, в частности, фразы типа «из этого следует, что «Слово» подлинно», повторяемые как рефрен после каждого существенного или несущественного наблюдения и очень часто там, где логически ничего не следует. И, конечно, убийственную роль для репутации этих работ у читателей играет лежащее на них клеймо советской цензуры, которая практически не допускала прямого цитирования А. Мазона или А.А. Зимина. Бесчисленные страстные доказательства подлинности «Слова» подразумевали наличие некоего коварного врага, который стремится обесчестить гордость советского народа и о котором по советской традиции чита-

телю не положено было знать сверх этого почти ничего; даже имена врагов предпочтительно было заменять безличным «скептики». А уже по другой, но тоже политической причине читателю не положено было знать о работах Р. Якобсона, активнейшего противника «скептиков». Справедливость требует отметить, что политизированное отношение к вопросу о подлинности или неподлинности «Слова» было характерно не только для СССР, но и для эмигрантских кругов на западе. «Патриотическая» окраска большинства выступлений в защиту подлинности «Слова» в глазах стороннего читателя вычитывалась из их собственно научной ценности. Стоит добавить к этому, что, даже независимо от политических обертонов, сама идея талантливой мистификации обладает известной привлекательностью. В самом деле, насколько живее и интереснее версия, по которой перед нами некая масштабная игра, а не просто еще одна единица хранения, долежавшая до великого московского пожара. Соблазнительной выглядит также мысль о том, какое количество почтенных специалистов оказывается в дураках, вот уже двести лет глубокомысленно наводя науку на чью-то озорную шутку. Сравни поразительно широкий успех в определенных кругах российского общества, который получила теория А.Т. Фоменко, провозгласившая подделку не просто одного какого-то сочинения, а тысячи документов и сочинений, на которых основаны наши представления о мировой истории» [Зализняк 2008: 26-28].

В свете сказанного А.А. Зализняком, не вряд ли может удивить сегодняшнее особое внимание к этому тексту со стороны современных адептов славянского язычества: поиск его следов во многом опирается на материалы «Слова». Автор признается теперь то ли полужазычником, то ли двоеверцем в стиле Оруэлла. Образ Всемирного Древа, языческие божества Див, Жля и Карна, фантастические перевоплощения Бояна и его героев «создают впечатление», которое точно определил Зорян-Доленга Ходаковский: любителям языческой архаики Боян представляется неким волхвом-вещуном, отсюда и почтение к невнятному бормотанию старца. Восхищение перед пугающими образами мифических существ, которыми населили «Слово» комментаторы. Речь идет о таких последних работах по поводу «Слова» как [Тимофеев 2007; Подлипчук 2004]. В контексте нашей статьи интерес представляет характеристика авторов, данная в предисловиях к их книгам. Например, о В.П. Тимофееве: «От человека в науке совершенного нового этого (т.е. такой интерпретации «Слова») не ждали. Новый человек пришел из разведки, где прослужил двадцать пять лет. Он владел почти двадцатью языками. В их числе древними. С равной убедительностью он обращался к скандинавским, тюркским и общеславянским языковым корням. С дотошностью профессионального аналитика

препарировал и сопоставлял источники, исторические реалии, старые и новые гипотезы...Его исследовательская и творческая судьба оборвались трагически рано...» [Тимофеев 2007: 7].

Сформулированный нами заголовок статьи просто обязывает нас сделать теперь исторический экскурс к истокам политизации проблемы «Слова» в русской культуре.

Один из фрагментов этой политизации связан с наиболее курьезной, но тем более показательной, историей. Зная о гибели в огне московского пожара 1812 года рукописно-книжной коллекции графа А.И. Мусина-Пушкина, в которой хранилось и «Слово о полку Игореве», московский палеограф А.И. Бардин [см. подр.: Козлов 1996: 100-112] решил своеобразно «восполнить» утрату древнерусской поэмы, изготовив два ее пергаменных списка. Сохранилось несколько противоречивых свидетельств о последующих событиях, суть которых приблизительно можно восстановить следующим образом. В мае 1815 г. к одному из участников подготовки первого издания «Слова», директору Московского архива Коллегии иностранных дел А.Ф. Малиновскому, пришел московский мещанин Петр Архипов и предложил купить харатейный список поэмы, переписанный в 1375 г. Леонтием Зябловым. По словам Архипова, рукопись была выменена иностранцем Шимельфейном на разные вещицы в Калужской губернии у зажиточной помещицы, которая запретила ему объявлять о имени ее. Серьезный знаток рукописного материала, каким был Малиновский, искренне поверил в подлинность списка и немедленно заплатил за него 170 руб. Воодушевленный приобретением, он тотчас приступил к подготовке издания текста памятника, предварительно написав для публикации в журнале «Известие об открытии другого древнейшего списка «Слова о полку Игореве». В нем сообщалось об обстоятельствах находки, давалось подробное описание самой рукописи. По словам Малиновского, после гибели мусин-пушкинского списка поэмы «не оставалось уже никакого убедительного доказательства для сомнящихся в подлинности сего сочинения» и лишь вновь открытый «древний свиток» наконец-то закроет рот скептикам. «Почерк букв, – утверждал Малиновский, – настоящий уставной», а в заключение он сообщал: «Сия редкая по древности и по виду своему рукопись будет издана вновь мною с исправлениями в переложении оной на употребляемое ныне наречие, ибо и в первом ее издании я имел честь участвовать с его сиятельством графом Алексеем Ивановичем Пушкиным и покойным действительным статским советником Николаем Николаевичем Бантыш-Каменским. А по исполнении сей приятной пред учеными россиянами моей обязанности останется сей свиток навсегда в библиотеке Московской государственной Коллегии иностранных дел архива» [цит. по: Дмит-

риев 1960: 155-156].

Однако ни текст «Известия», ни текст «зябловского списка» «Слова» не появились в печати. Слухи о находке проникли в московские научные круги, встретив откровенно скептическое отношение. С недоверием к открытию отнесся брат известного коллекционера графа Н.П. Румянцева – С.П. Румянцев. По словам Калайдовича, последний имел «сильное предубеждение» относительно этого и многих других современных ему открытий в области древней письменности. Решительно как о подлоге, даже не видя рукописи, о «зябловском списке» «Слова» высказался Н.М. Карамзин, назвав его «любопытным». По запросу Н.П. Румянцева описание рукописи со снимком ее первых 16 строк было направлено на экспертизу известному петербургскому палеографу А.И. Ермолаеву. В июле 1816 г. мнение Ермолаева стало известно и Малиновскому. Секретарь Румянцева И. Нестерович сообщал ему: «Быв свидетелем невыгодного отзыва г-на Ермолаева о найденном древнем списке Песни о полку Игореве, будто список сей подделан, приятнейшим для себя почел долгом сообщить о сем вашему превосходительству» [цит. по: Козлов 1996: 103].

Однако до окончательного разочарования было еще далеко. Между июнем и ноябрем 1815 г. о находке нового списка поэмы стало известно Строеву, который сообщил о нем, как о подлинном, в своей журнальной статье «Не-что о мифологии славян российских и в особенности о богине Золотой бабе», вышедшей затем отдельной книгой. По меньшей мере, еще год Строев не сомневался в подлинности «свитка» и даже с недоумением писал Калайдовичу, что Карамзин, «не знаю, по каким причинам, почитает его подложным».

Вероятно, Малиновский все-таки решился бы на публикацию «Известия» и «зябловского списка» «Слова», а слухи о находке еще долго бы продолжали будоражить воображение современников, если бы все не разрешилось само собой, почти анекдотическим образом.

Воодушевленный тем, что удалось провести такого знатока и одного из участников первого издания «Слова», как Малиновский, Бардин изготавил еще один пергаментный список поэмы, в виде книги. С дерзкой смелостью он уже сам предложил свое изделие владельцу подлинной рукописи поэмы – Мусину-Пушкину. И граф также поверил фальшивке. Последующие события оказались достойны знаменитой заключительной сцены в гоголевском «Ревизоре». В восторге Мусин-Пушкин приехал в Общество истории и древностей российских при Московском университете и торжественно сообщил о приобретенной им «драгоценности». «Все удивляются, радуются, один Алексей Федорович [Малиновский] показывает сомнение. «Что же вы?» – «Да ведь и я, граф, купил список подобный...» – «У кого?» – «У Бардина». При сличении списки оказались одной работы» [подр. см.:

Сперанский 1956: 74-76].

Итак, две подделки, встретившись, разоблачили друг друга. «Шутка» московского библиофила обошлась двум его землякам-коллекционерам в круглую сумму, заодно нанеся серьезный удар по их научному авторитету. Зато Бардин с тех пор приобрел не только дурную славу фальсификатора, но одновременно и уважение за умение писать под древний почерк.

Впрочем, в оправдание Малиновского и Мусина-Пушкина все же хотелось бы сказать, что подобная «шутка» с ними могла произойти только в той пронизанной духом первооткрывательства, сенсационных находок древностей атмосфере, которая была характерна для первых десятилетий XIX в. Эти находки прямо или косвенно касались и «Слова». Почти одновременно с появлением бардинских подделок становятся известны и «Задонщина», и «Сказание о Мамаевом побоище», и знаменитая приписка на Псковском Апостоле 1307 г. с фразой, сходной с одним из мест поэмы. И казалось, что вот-вот будет действительно найден еще один или даже несколько списков «Слова». Азарт поиска и создал тот фон, на котором оказалось возможно обмануть двух участников подготовки первого издания поэмы.

В конце XX века, однако, «романтическая история» повторяется. В советской печати (газета «Труд» и «Литературная газета») появляется сообщение о том, что Малиновский имел второй, подлинный список поэмы, который и предлагалось искать энтузиастам [Иванов 1982].

Однако, к чему были все эти устремления: удревить историю российскую? А вот к чему: это еще одна попытка в культуре интерпретировать научные споры XVIII – начала XIX в., а также XX – начала XXI в. об уровне общественного и культурного развития славян в целом, и русских в частности.

Обратимся к еще одному достаточно наглядному примеру. Около 1807 г. А.И. Сулакадзе [см. подр.: Козлов 1996: 155-185; Ревзин 1979] сообщил Державину об имевшихся у него «новгородских рунах». Спустя три года тому же Державину, работавшему в это время над «Рассуждением о лирической поэзии», он предъявил выписки из якобы найденной им «Бояновой песни Славену», или «Гимна Бояну», а также известие о «Перуна и Белеса вещаниях», или «Произречениях новгородских жрецов». Отрывки из первого сочинения были даже опубликованы Державиным в 1812 г. в его собственном переводе.

Интерес к «Гимну Бояну» был вызван тем, что он раскрывал загадочную фигуру «песнотворца Бояна», к которой было приковано общественное внимание России начала XIX в. в связи с очень неясным и единственным упоминанием о нем в поэме «Слово о полку Игореве». Ю.М. Лотман в свое время достаточно подробно проанализировал этот текст и уста-

новил его фальсифицированный характер [Лотман 1962: 403]. Но эта подделка пропагандировала идею высокого уровня развития славянского народа, к которому принадлежал Боян: в обществе, описанном здесь, существовали суды, славившиеся своей справедливостью, развитые денежные отношения – оплачивался даже труд стихотворца, были высокая письменная культура и «песнотворчество». На первый взгляд перед нами – пример бессознательной модернизации фальсификатором общественных отношений древности, а также плод «оссианического поветрия», охватившего Европу после известных подлогов Д. Макферсона. Однако дело вряд ли сводилось только к этому. Смутные представления А.И. Сулакадзева, почерпнутые им из книг, о «варварском» периоде в истории народов, почему-то не побудили его развивать тему жизни своих героев того времени, когда их согревали, как сказано мимоходом в «Гимне Бояну», только «звериные меха». Наоборот, в патриотическом воодушевлении он последовательно раскрывает тему славы, победоносных походов славян. Это вряд ли можно признать случайным – фальсификатор по-своему интерпретировал научные споры XVIII – начала XIX в. об уровне общественного и культурного развития славян. Своим изданием он явно преследовал цель пополнить доказательствами ту точку зрения, согласно которой славяне оказались едва ли не преемниками Древнего Рима, опережая по своему развитию все остальные народы Европы. В этом смысле А.И. Сулакадзев действовал по логике Д. Макферсона и В. Ганки, хотя, разумеется, и не столь умело.

Действительно, несмотря на огромную эрудицию и работоспособность персонажи, о которых шла и еще будет идти речь в статье, остаются историками-дилетантами и лингвистами-самоучками. Они – дилетанты: они не могут остановиться у той черты, которая отделяет фантазию от истинного знания. К этому их подталкивает и своеобразно понимаемый патриотизм, и восторженно-умилительное преклонение перед разрушавшимися и разрушающимися по сей день – действительно или мнимо – на их глазах патриархальными устоями российского общества. При этом они как бы исправляют ошибки профессиональных ученых – историков и филологов. Как, например в николаевскую эпоху, этим активно занимался И.П. Сахаров (1807-1863), опубликовавший «Песни русского народа». Обратим внимание на следующее: в эпоху николаевской реакции подделки Сахарова не встречали сколько-нибудь серьезного отпора: сказались, видимо, и уровень изучения устного народного творчества, и та официальная поддержка, которую получили его публикации. Наоборот, в рецензиях на его труды долгое время преобладал восторженный тон: «нельзя не иметь доверия, – писал, например, в 1841 году анонимный рецензент «Песен рус-

ского народа», – к каждому стиху песен, сообщенных господином Сахаровым; везде слышится чисто народный склад, народное слово, народное выражение, и нигде не заметно ни малейшей подправки. Решительно, собрание песен господина Сахарова может быть названо у нас единственным и образцовым» [Отечественные записки 1841: 42]. Можно понять столь восторженный отзыв рецензента, призывающего автора: «Итак, в сторону критику, почтенный и трудолюбивый наш собиратель «Сказаний русского народа»! Давайте нам фактов, больше фактов, – и вы услышите громкое спасибо со всех сторон бесконечного царства русского» [Отечественные записки 1841: 40]. Сахаровские подделки, например, оказались в конечном итоге продуктом официальной идеологии эпохи их создания. Они отвечали официальному толкованию идеи народности прежде всего как одного из общественных устоев николаевской России. Идеализация старины, поиски в ней не существовавших образцов истинно народного характера, образа мыслей, обычаев были благодатной почвой для подделок И.П. Сахарова [Биография 1873: 915; Виноградов 1905: 250; Пыпин 1898: 31-32; Аникин 1989: 13].

К той же эпохе социально-политических преобразований в России относится и появление древнерусского текста любопытного памятника, озаглавленного: «Сказание о Руси и о вечах Олзе. Списано с харатейного листа ветхости его ради, а списано верно тожь. Сказание о том, как уставиися прозвание Руси». Сделанный перевод приписывался известному в то время писателю Н.С. Курочкину. Вместе с оригинальным текстом сказания, набранным церковнославянским шрифтом (с выделенными кинорьями заголовками), и двумя снимками почерка рукописи, в которой находился памятник, он был опубликован в журнале «Сын Отечества». Приведем фрагмент перевода этого памятника: «Былиной была эта сказка, в те веки начальные, в те годы усобные, в те лета бесплодные, а начало се таково... Царствовал страх по городам старым и по градам новым, страх от меча и огня, и в облаках дивные являлись знамения. В те поры вставал с четырех концов (земли русской) плач и вопль бороздил без устали по-дунайские земли, то народ славянский побивал насол от Преруна. ... С той поры, когда уже погаснул последний месяц сорокового года, когда уже окрепнули славяне, и протрубили по окрестностям громкою славою, прошумели первыми боями в крепостях вражеских, побивая недругов уже не засохожником, а мечами обоюдоострыми, то пришли к ним из-за моря послы со всякими дарами и спросили у старшины того ж Крепкомысла, который уже имел снег на власах своих и сизую мглу в очах соколиных, и сказали: «Здесь город Коростень и с того ли конца пойдет Русь могучая?» Крепкомысл принял дары и, поклонясь тем послам,

отвечал: «Здесь город Коростень, здесь и река Днепр, то видно от нее пойдет на Север и Русь, силой могучая»... С тех пор и прослыла земля наших славян Росью, то же Русью, да и слову сему конец, аминь и три креста».

Здесь важно то, что исторически значимым в глазах читателей должно было выглядеть прежде всего «идеологическое» содержание. Идея народности – одна из идей т.н. николаевско-уваровской триады – была определяющей его чертой. Как было выяснено позже, этот текст был «измыслен» известным поэтом и общественным деятелем Д.И. Минаевым, который не раз определенно высказывал свои общественные позиции. Например в поэтическом предисловии к поэме «Слава о вещем Олеге». Здесь он констатирует: «Свершилось! Русь вниманье к Западу склонила» – и даже признает: «И Русь теперь в одежде новой / Стоит как Янус двухголовый». Однако он понимает, что процесс этот неизбежен: даже «устав от ассамблей», русский народ должен воспринимать все лучшее от других народов. Это не значило, по мысли Минаева, отказа и от национальности, и от старины. Поэтому свое поэтическое предисловие к поэме «Слава о вещем Олеге» он завершает словами: «Но будет время, он поймет / И свой язык, и свой народ! / Он наши посетит курганы / И берег Волги и Десны. / Мечтатель вспомнит, как в туманы / Садилось солнце старины. / Тогда отыщут наши сказки, / В них дух отцов заговорит; / Вглядятся в северные краски, / Полюбят русский колорит» [цит. по: Козлов 1996: 216].

Что же побудило Д.И. Минаева к фальсификации «Сказания»? «Сказание» в общественно-политическом контексте той эпохи можно рассматривать как попытку Д.И. Минаева проиллюстрировать свои идеи. Речь идет о дохристианском расселении славянских народов от Дуная на восток и север под давлением неких загадочных недругов. Былинное начало первой части произведения, в которое облечено описание расселения славян, как бы подтверждало мысль Д.И. Минаева о том, что именно в народной поэзии содержатся факты прошлого, имеющие значение для исторической науки. Этой частью «Сказания» Д.И. Минаев как бы дополнил то, что, по его словам, в летописях закрыто густой тенью и печатью молчания. В «Сказании» оказалась и «болванная песнь» – она, по мысли Д.И. Минаева, должна была являться одним из примеров того, как языческая поэзия «проползла» через христианские препоны к современному читателю.

Все это – фрагмент активной социальной позиции российской интеллигенции, которая, начиная с переломного рубежа XVIII-XIX в. отстаивала принципы национальной традиции и национальной идентичности, которые составляли часть авангардных идей того времени. Вопрос об исторической судьбе Отечества сопровождает историю России вплоть до сего-

дняшнего дня. И здесь на передний план выдвигается фигура, можно сказать, идеолога народности и патриотизма, определившего эволюцию российского знания – не только знания исторического, но и филологического. Возможно, имманентно определяющего его вплоть до сегодняшнего дня. Речь пойдет о А.С. Шишковой. Именно у А.С. Шишкова любовь к отечеству оказывается связана причинно-следственным образом с родным языком. В фокусе патриотической проповеди А.С. Шишкова находился язык – мистическая сила, которая творит народность и несет в себе традицию. Язык у А.С. Шишкова – показатель и источник исторической жизнеспособности народа. Русский язык, в интерпретации А.С. Шишкова, – это прирожденный носитель знаменования: икона русской народности и гарантия сохранения и исторической победы русской государственности.

По верному наблюдению И. Сандомирской, в российской научной традиции – у Тредиаковского, Ломоносова, Татищева, а затем и у Шишкова – подобные знаменования обнаруживаются в коренных русских словах, а последовательность этимологических трансформаций знаменует собой закономерность в историческом превращении. Благодаря «первоначалию Россов», коренные русские слова помнят всю мировую историю, свидетельствуют об этой истории, раскрывают ее загадки. Упомянутое у Птолемея таинственное географическое название Азагориум объясняется у Татищева тем, что выводится из русского Загорья. Название скифы – из ветхозаветной скинии. Как напишет тот же Татищев: «Зане в степях переходо в палатках или шалашах обитали». Скифы, стало быть, по своей древности – библейский народ. Есть, правда, и другая версия, озвученная М.М. Щербатовым: имя скифы происходит от имени чудь. Праславянское племя, следовательно, более первоначально, чем античный миф. И еще одна: скифы (скиты) – потому что жизнь свою проводили в скитаниях. Это уже версия, принадлежащая А.С. Шишковой. В названии русского города Перемышль, по мнению того же А.С. Шишкова, сохранилось имя Прометея. Следовательно, славяне – не только современники библейских патриархов, но и свидетели ранней греческой мифологии. Более поздняя история и подавно отразилась в славянских названиях. Угры (мадьяры) – от горы, потому что жили у гор. Норвегия называется так, потому что на самом деле – Наверхия, расположена наверху карты. Британия – искаженное имя Пристания, потому что там кельты пристали, нашли себе убежище. Слово кельты – от слова желтый, в соответствии с цветом волос. Амазонки – на самом деле омузонки, т.е. превратившиеся в мужей. Эта этимология восходит в своих началах к идеям В.К. Тредиаковского [Сандомирская 2001: 194].

Все эти закономерности, по мысли

А.С. Шишкова, можно наблюдать потому, что славянский язык – первоначальный, и не столько даже по отношению к своему историческому источнику, сколько ко всеобщему духовному: от него пошли все остальные языки мира. Кажется, что актуальный, не только для века XIX, политический смысл подобных текстов очевиден. Миф приводит А.С. Шишкова к признанию первоначалия славян. Это общее место риторики у всех устроителей русского языка. Славянский язык – хранилище мирового порядка, включающего в себя и амазонок, и кельтов, и Прометея, сына Яфетова, и скинию Завета, и Гога с Магогом. Различие языков – результат географического перемещения народов, забывших и искаживших свой первоначальный (славянский, богоданный) язык [Шишков 1825: 185]. Первенство славянского языка покоится, как на трех китах, на постулированных еще Третьяковским трех главнейших древностях российских: это первенство словенского языка пред тевтоническим; первоначалие Россов и тезис о варягах-руссах славянского звания, рода и языка [Третьяковский 1963: 8-9].

Мы видим, что поиски внутренней формы на этимологической стадии стремятся к утверждению универсализма русского языка – подобно отцу, русский готов принять под свою сень все остальные языки мира, вторичные по отношению к славянскому. Славянский готов дать этим языкам историческое и теософское пристанище; сохраняя в себе первоначалие, он предоставляет вторичным языкам (например, тевтонскому) возможность обрести себя в мифологизированной истории человечества, едва ли не единственным племенем которого оказываются славяне. Этот универсализм носит политический характер, но и он в свою очередь продиктован герменевтическим климатом эпохи. Это стремление: включать мировые события в собственную историю, характерная стадия коллективной самоидентификации, предшествующая национальному партикуляризму. Согласно этому мифу, обратимся еще раз к идеям А.С. Шишкова, славяне изначально включают в себя все, что содержится в божественном творении. Славянская история причастна всему, поскольку является свидетельством и собственным продолжением Священной истории. История других народов становится чем-то случайным и необязательным, она не способна дополнить историю славян до целого, поскольку именно история славян несет в себе эту целостность изначально. Эту позицию полностью не сможет отменить и романтическое представление о национальной специфике, и капиталистическо-империалистический универсализм XIX-XX в.

У этой филологии есть очень отчетливый политический момент. По словам А.С. Шишкова: «Некоторые Иностранные невежды из имен Славяне, Сербы, сделали имена Склавы, Эсклавы, Сервы, которые на их языках значат: уз-

ники, невольники, рабы. Из сих грубо превращенных слов заключают они, что Славяне всегда были в диком и рабственном состоянии, отчего так и прозваны. ...Вопросим теперь: можно ли, без крайнего невежества, сие чудовищное право полагать в России, когда в ней не подвержены оному даже и самые тяжкие преступники, осужденные вместо смерти на вечное заточение. Как? И сие зверское право полагается в той державе, в которой, единственной, нет смертной казни! Однакож некоторые Иностранцы, пишущие без всякой пред истинною и здравым разсудком ответственности, жалуют Домочадцев наших в Эсклавы! Но еще страннее и печальнее для нас, что некоторые Русские, как будто не Русские, к сим ложным бредням их в такой же степени заблуждения, слепо прилепляются» [Шишков 1880: 69-71].

Так в языке обретается не только миф об «истоках» и «первоначалиях», но обоснование политической системы. «Русскость» в этом пассаже оказывается уже не природным, не богоданным и даже не лингвистическим состоянием. «Русскость» – в противоположность «иностранности» – это образ мыслей. Кроме того, «русскость» отличается от «иностранности» самим устройством зрения. Где иностранец – ошибочно – видит ярмо рабства, там русский имеет узы семейственности, родственную связь между домочадцами. У «русскости» иные основания естественного права.

И вот двадцатый век с присущим ему размахом начал, вернее продолжил, пропагандировать подобные идеи, используя всю мощь средств массовой информации.

«Дощечки Изенбека», пожалуй, один из наиболее скандально известных с середины XX в. письменных источников, связанных с историей России и славянских народов.

Читающая публика впервые узнала об этом сочинении из небольшого сообщения в малотиражном журнале «Жар-птица», издававшемся в Сан-Франциско российскими эмигрантами. В ноябрьском номере этого журнала за 1953 г. под заголовком «Колоссальнейшая историческая сенсация» было сообщено о том, что «отыскались в Европе древние деревянные «дощечки» V века с ценнейшими на них историческими письменами о древней Руси» [цит. по: Творогов 1990: 171]. С января 1954 г. в том же журнале началась публикация отрывков найденных текстов. Она продолжалась с перерывами до декабря 1959 г., когда журнал прекратил существование.

Публикация осуществлялась одним из издателей журнала, ученым-этимологом, специалистом по ассирийской истории А.А. Куренковым по материалам, присылавшимся из Брюсселя российским литератором-эмигрантом Ю.П. Миролюбовым.

Публикация в «Жар-птице», вероятно, оставалась бы известной лишь достаточно узкому кругу читателей журнала, если бы в 1957 г. в

6 выпуске своей «Истории русов в неизвращенном виде» ученый-эмигрант С. Лесной не посвятил «Влесовой книге» специальный раздел. В 1964 г. С. Лесной опубликовал книгу «Русь, откуда ты?», которая, изданная тиражом в тысячу экземпляров, сыграла свою роль в пропаганде: слухи о ней достигли и СССР. В 1970 г. именно по этим слухам в советской печати о «Влесовой книге» как о подлинном памятнике впервые упомянул поэт и художник И. Кобзев [1970: 49]. С этого времени в советских средствах массовой информации началась настоящая полемическая дуэль. Важно отметить, что она разворачивалась на фоне дискуссии по вопросу о подлинности «Слова о полку Игореве», инициированной профессором А.А. Зиминим. Правда, административное вмешательство в научный спор не позволило объективно обсудить и оценить все гипотезы о создании «Слова о полку Игореве». в XVIII в. Однако в 70-е годы ему удалось в ряде провинциальных и центральных изданий опубликовать серию статей с обоснованием своей точки зрения, встретившую ответные полемические выступления. Как увидим ниже, спор с А.А. Зиминим по поводу подлинности «Слова о полку Игореве» придал особую пикантность полемике вокруг «Влесовой книги», поскольку она привела к расколу внутри лагеря защитников «Слова»

Начало полемики в СССР вокруг «Влесовой книги» было положено статьей В. Скурлатова и Н. Николаева, опубликованной в еженедельнике «Неделя» [Скурлатов 1976: 10]. По их словам, эта «таинственная летопись» позволяет по-новому поставить вопрос о времени возникновения славянской письменности, внести кардинальные изменения в современные научные представления об этногенезе славян, их уровне общественного развития, мифологии. В том же 1976 г. газета «Неделя» поместила уже целую подборку восторженных отзывов о «Влесовой книге», среди которых все отчетливее зазвучало обвинение против тех, кто якобы стремился «замалчиванием отстранять» читателей и писателей от этого выдающегося произведения [Неделя 1976: 7]. Так патриоты отечественного прошлого одержали победу над ниспровергателями его духовного наследия. И основная заслуга негласно приписывалась в этой победе деятельности Ю.П. Миролубова. Умерший в 1970 г., он оставил после себя многотомное собрание поэтических, прозаических, этнографических и исторических сочинений. Главный и основной интерес Миролубова – древняя история славян, их общественное устройство, религия, мифология. Этим вопросам, помимо многочисленных статей, он посвятил несколько больших специальных сочинений: «Ригведа и язычество» (закончено в 1952 г.), «Русский языческий фольклор. Очерки быта и нравов» (закончено в 1953 г.), «Русский христианский фольклор. Православные легенды» (закончено в августе 1954 г.), «Материалы к праи-

стории русов» (работа 1967 г.), «Славяно-русский фольклор» (работа конца 60-х гг.) и др. В них Миролубов изложил свои весьма специфические представления о славянской истории и создал собственную картину этногенеза и истории славян.

Ю.П. Миролубов делает в своих трудах народ «славяно-росов» «древнейшими людьми на Земле». Их прародину Миролубов обнаруживает в районе между Шумером, Ираном и Северной Индией. Отсюда приблизительно за три тысячи лет до начала нашей эры «славяно-росы» начали свое продвижение, захватили территорию теперешнего Ирана, а затем «ринулись конницей на деспотию Двуречья, разгромили их, захватили Сирию и Палестину и ворвались в Египет». Приблизительно в VIII в. до н.э., по концепции Ю.П. Миролубова, «славяно-росы» ворвались уже в Европу, идя в авангарде ассирийского войска, и захватили «земли, которые им нравились».

Отождествляя древних «славяно-росов» с древними индийцами, Ю.П. Миролубов пишет, что религией первых являлся ведизм. Она долгое время сохранялась благодаря особой письменности, сходной с санскритским письмом. Однако со временем славянское жречество «огрубело, забыло ведический язык», и «скоро уже было невозможно записать по-санскритски сказанное по-славянски». Новая языческая религия «славяно-росов» предвосхитила христианство, позже во многом оказалась созвучной ему, идеологически «совпала» с христианским вероучением [цит. по: Козлов 2001: 101].

В основу своих построений Ю.П. Миролубов положил несколько источников. Он упоминает «Книгу о князем утерпении» как остатке древнего русского языческого эпоса, которую его «родители видели в прошлом веке», «припоминает» виденную им самим до Первой мировой войны книгу со славянскими «руническим надписями», наконец, ссылается на реально существующие памятники литературы и письменности: «Слово о полку Игореве», «Задонщину», «Голубиную книгу», «Хождение Богородицы по мукам». Но основным источником своих научных размышлений Ю.П. Миролубов делает собственные наблюдения «в народе» – за жителями украинских сел Юрьевки, Антоновки, Анновки, а также рассказы няни его отца – бабки Варвары – и еще одной старушки – Захарихи. Они были посвящены, по словам Миролубова, «описанию войн, нашествий и случаев из скотоводческого периода жизни славян». Достоверность и точность рассказов старушек Миролубов обосновывает тем, что эти люди жили вдалеке от городов и «железнодорожных станций», благодаря чему, по его словам, их жизнь «как бы застыла на целую тысячу лет в своих традициях». В сочинениях Ю.П. Миролубова часто речь идет не просто о традициях, но и о таких народных знаниях, которые, выражаясь языком Миролубова, стоили

«целого факультета истории и фольклора». Так, например, бабка Варвара вспоминает ему весь пантеон языческих богов: Огника, Огнебога, Сему, Ряглу, Дажба, и всех Сварожичей. Старый дед на хуторе под Екатеринославлем уверенно поучал его: «В старину люди грамоте знали! Другой грамоте, чем теперь, а писали ее крючками, вели черту богови, а под нее крючки лепили и читать по ней знали!» То же самое сообщает Миролюбову и еще одна старуха: «Наши пращурь умили писать по-нашему раньше всякой грамоты» [Козлов 2001: 102].

Но для чего Ю.П. Миролюбову потребовалось придумать столь фантастическую картину древней истории славян? Дело в том, как считает В.П. Козлов, что свои сочинения о славянской истории Ю.П. Миролюбов рассматривал как вклад в борьбу с советской системой и коммунизмом. По словам самого Ю.П. Миролюбова, побороть их можно, только накапливая в себе «божественное начало» христианской религии. Но, видимо, современное христианство его не удовлетворяло: он не принимал всерьез ту Православную Церковь, которая существовала в СССР, и не питал особых чувств и уважения к зарубежной Русской Православной Церкви. Истинное христианство он искал в глубокой древности: не случайно его «славяно-росы» оказываются в Палестине и других регионах, связанных с зарождением исторического христианства [Козлов 2001: 103].

Как видим, политические идеи той или иной эпохи, повторяясь, выводят нас в пространство патриотической риторики и в более широкое пространство дискурсивных практик (по М. Фуко), в котором идеология ищет себе самооправдание и самоопределение в слове как таковом. Господствующие взгляды на слово как таковое оказывают воздействие на язык политический.

Во всех случаях, о которых выше шла речь, фальсификации исторических письменных источников осуществлялись на фоне развития исторической и филологической науки, подчас как бы выполнявшей провокативную функцию. Так, например, в начале XIX в. огромное воздействие на русскую историографию оказала «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Этот труд послужил не только основанием для нескольких подделок источников, в частности для А.И. Сулакадзева, но и породил многолетнюю ожесточенную полемику вокруг поставленных в нем проблем. Ряд участников этой полемики в своих спорах с Н.М. Карамзиным использовали фальсифицированные источники в качестве одного из аргументов в отстаивании собственной точки зрения. Так появились «Рукопись профессора Дабелова» и «донесения» Гримовского, о которой подробно в свое время писал В.П. Козлов [Козлов 1996]. Первая фальсификация доказывала давний интерес в России к произведениям латинских авторов, вторая – по существу иллюстрировала карамзинские взгляды на историю царствава-

ния Бориса Годунова и одновременно спорила с ними.

Фальсификаторы не могли не учитывать фактора развития филологического знания и старательно использовали отдельные элементы этого знания или даже их совокупность.

Атрибуты наукообразия всегда сопровождают введение псевдоисторических текстов в общественный оборот. Они включают всевозможные комментарии – текстологические и лингвистические, снимки почерков. Многочисленными комментариями по содержанию снабжены публикации «Песни Мстиславу» и «донесений» Гримовского, «Сказания о Руси и о вещем Олеге». Упомянутый нами в статье Д.И. Минаев, например, рискнул представить читателям факсимильные снимки почерков рукописей. «Дощечки Изенбека» выложены сегодня на многочисленных Интернет-сайтах. Авторы подкрепляли и подкрепляют свои произведения всевозможными признаками «древности». В процессе их изготовления используется пергамен, стилизация под древний почерк, фальсифицированные записи писцов и др. Приемы, способы, техника подделок исторических источников в определенной мере отражают состояние исторической критики и историографии. Те же А.И. Бардин с А.И. Сулакадзевым, «работая» под древний почерк, старались бы учесть те знания о развитии в русской письменности начертаний отдельных букв, которые в их время были доступны еще только узкому кругу профессионалов, и лишь много позже стали хрестоматийными.

А.И. Бардин, например, отталкивался от подлинных известных текстов источников, допуская по отношению к ним несколько видов фальсификаций. Во-первых, он подделывал внешние признаки древних рукописей. Значительная часть его подделок изготовлена в виде кодексов, в кожаных переплетках, на пергамене как новой выделки (состаренном им сознательно), так и старинном, с предварительно смытым текстом (палимпсесте). У него была, очевидно, своеобразная «мастерская» изготовления, старения или смывания пергамена. Свои подделки Бардин изготовлял и в виде свитков (пергаменных). В единственном случае – при изготовлении Торгового устава 1571 г. – А.И. Бардин использовал чистую бумагу XVII в. Внешними признаками он стремился «удревнить» свои изделия. Этому же служили и разработанные им типы почерков – под устав, полуустав и даже под скоропись. А.И. Бардин подражал в основном почеркам рукописей XIII-XIV вв. Он употреблял также вязь, для выделения заголовков текстов или названий рукописей использовал киноварь, золото, рисовал всевозможные заставки и миниатюры, то есть создавал «лицевые» рукописи [подр. см.: Козлов 1996: 108-110].

Также и Д.И. Минаев, для придания «Сказанию» древности не без таланта использовал

стилизацию под древнерусский язык, былинно-летописный стиль, почерк древних рукописей. Он изобрел записи писцов, снабдил публикацию многочисленными пространственными комментариями, предисловием, где даны описание рукописи и характеристика вошедшего в ее состав памятника. Оригинальна была и методика изготовления подделки: сначала она была написана в стихотворной форме современным языком, а затем «переведена» на «древний» (славянский) язык с многочисленными «темными» словами и выражениями, которые автор толковал в соответствии с собственным пониманием их смысла.

От подделки к подделке тот же А.И. Сулакадзев, учитывая развитие филологии своего времени, совершенствовал отдельные элементы техники своего творчества с учетом реальных достижений науки. Его первая большая подделка – «Гимн Бояну» – в качестве первоочередного признака древности содержала бессмысленные слогонагромождения. То же самое можно сказать и относительно других фальсификаций, например «Оповеди». Иначе говоря, какое-то время Сулакадзев не придавал решающего значения палеографическим приметам, отдавая предпочтение «непонятности» текста, что открывало большие возможности для его вольной и фантастической интерпретации. Но время шло, и действительные открытия в русской и славянской письменной старине, успехи исторической науки заставляли фальсификатора быть осторожнее. А.И. Сулакадзев становится более изобретательным. Он все шире начинает прибегать к фальсифицированным припискам на недатированных рукописях. Сами приписки Сулакадзев старается стилизовать под почерк подлинной рукописи. В этой связи необходимо упомянуть еще один его труд: «Буквзор самых древних, средних и последних времен... азбуки и письма». В данном случае нельзя не отдать должного А.И. Сулакадзеву. В то время, когда ученые приступили к целенаправленному и систематическому сбору и публикации палеографического материала, он также решил не «отстать» от науки. Его замысел был не лишен остроумия: поняв, что не искусные подделки под древний почерк грозят возможным разоблачением, фальсификатор решил поставить изготовление своих фабрикаций на «научную» основу. В «Буквзоре» старательно срисованы наиболее характерные начертания букв разных времен и систем алфавита. По сути дела, им была составлена своего рода палеографическая таблица реальных графем. С ее учетом Сулакадзев старался подражать почеркам разного времени и даже изобретал никогда не существовавшие системы письма, в том числе и «рунического».

О том, что фальсификатор в конце концов осознал важное значение палеографических примет и других данных в удостоверении «подлинности» изделий, красноречиво говорит, на-

пример, то, как постепенно им усложнялась характеристика «Гимна Бонну». В описании, представленном Державину, фигурировал пергаментный свиток, исписанный красными чернилами «руническими» и греческими буквами. В «Книгореке» к произведению дается уже подробная аннотация и вводятся новые палеографические признаки: «Боянова песнь в стихах, выложенная им, на Словеновы ходы, на казни, на дары, на грады, на волхвовы обаяния и страхи, на Злогора, умлы и тризны, на баргаменте разном, малыми листами, сшитыми струною. Предревнее сочин[ение] от 1-го века, или 2-го века». В «Каталоге» «Гимн Бояну» расцвечен новыми подробностями и признаками достоверности: «Боянова песнь Славену – буквы греческие и рунические. Время написания не видно, смысл же показывает лица около 1 века по Р.Х. или позднейших времен Одина. Отрывки оной с переводом были напечатаны Г.Р. Державиным под заглавием: «Чтение в Беседе Любителей Русского Слова», 1812 г., в книге 6-й, стр. 5 и 6. В «Записках» же императрицы Екатерины II на стр. 10, изд. 1801 г. изъяснено: «Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели», а по сказаниям Нестеровым и иным видно, что они древние истории письменные имели. Равномерно в сочинении Зизания 1596 г. (в Вильне) – «Сказание, како состави св. Кирилл азбуку по языку словенску» на стр. 29 значится: «Прежде убо словяне суще погани (язычники) чертами читаху и гадаху». Драгоценный сей свиток любопытен и тем, что в нем изъясняются древние лица, объясняющие русскую историю, упоминаются места и проч.» Как видим, в конечном итоге, А.И. Сулакадзев снабдил описание «Гимна Бояну» уже целым «ученым трактатом», в котором для удостоверения подлинности фальшивки фигурируют такие авторы, как Зизаний, Екатерина II и Державин [подр. см.: Козлов 1996: 181].

XX век, правда, не привнес в эту серию методов ничего принципиально нового. В основу своей методологии работы «дощечками Изенбека» Ю.П. Миролубов также положил принцип неповторимости, необычности языка, графики и содержания.

Таким образом, в конечном итоге, мы попадаем в сферу эзотерической герменевтики: автор как бы стремится вычитать некий условно господствующий идеологический миф из языка, а затем стремится вчитать его в созданный им самим текст.

Подчас не только вера или убежденность в подлинности этих и других подлогов, а политическая целесообразность заставляли «оборонять» их, как мы могли убедиться, от выступлений критиков или делать все, чтобы умолчать об этих выступлениях. Это, со своей стороны, отражает явления и процессы определенных этапов общественного развития, которые то безжалостно разоблачают фальсификации, то начинают их активно востребовать. Бытование под-

логов, их подчас неожиданная реанимация много времени спустя после разоблачения отражают две особенности человеческого мышления: склонность к мифологии и политизированность. Как результат искусственного конструирования исторических источников подлоги, являясь своеобразным историческим сочинением, в некотором роде превосходят собственно исторические труды: догадки и гипотезы последних в фальсификациях представлены подчас яркими, но вымышленными «доказательствами». В силу этого они выглядят необычайно привлекательно – в этом их магическая сила, воздействующая прежде всего на обывателя.

Так было, скажет читатель. Ну, а мы сегодня – можем ли мы найти в себе силу духа, имеем ли способности ума, чтобы решиться обнаружить и разоблачить те сотни и тысячи созданных и еще не вырванных с корнем исторических мифов? Есть ли у нас, живущих сегодня, потребность в таком разоблачении? Может быть, жить в мире, где если не торжествуют, то уживаются с правдой легенды и мифы, проще и спокойней?

ЛИТЕРАТУРА

Аникин В.П. Жизнь, творчество и труды И.П. Сахарова // Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым. – М.: Художественная литература, 1989. 398 с.

Берков П.Н. О людях и книгах. – М.: Книга, 1965. 144 с.

Биография И.П. Сахарова // Русский архив. 1873. № 6. С. 912-920.

Виноградов Н.Н. И.П. Сахаров и его «Русские народные загадки и притчи» // Журнал Министерства народного просвещения. 1905. № 6. С. 250-256.

Воробьев Б.Н. Рукопись А.И. Сулакадзева «О воздушном летании в России» как источник историографии по воздухоплаванию // Труды по истории техники. 1952. Вып. 1. С. 122-127.

Дмитриев Л.А. История первого издания «Слова о полку Игореве: Материалы и исследования. – М.-Л.: Академия, 1960. 460 с.

Журнал Московской патриархии. 1974. № 12. С. 2-6.

Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2008. 480 с.

Иванов М. Находки в старом архиве // Труд. 1982. 27 окт. С. 4 (переиздана в: Литературная газета. 1982. 4 нояб. С. 14).

Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. – СПб.: РХГИ, 1998. 408 с.

Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. – М.: Канон, 2008. 544 с.

Кобзеев И. О любви и нелюбви // Русская речь. 1970. № 3. С. 44-52.

Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. – М.: РОССПЭН, 2001. 224 с.

Козлов В.П. Тайны фальсификации. – М.: Ас-

пект Пресс, 1996. 272 с.

Копосов Н.Е. Замкнутая вселенная символов // Социологический журнал. 1997. № 4. С. 33-47.

Копосов Н.Е. Как думают историки. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. 326 с.

Ланн Е. Литературные мистификации. – М.: Либроком, 2009. 234 с.

Линецкая Р. Письма В.И. Анучина к С.Е. Кожевникову // Сибирские огни. 1963. №10. С. 166-170

Лихачев Н. Вымышленный указ царя Алексей Михайловича // Сборник статей в честь Дмитрия Фомича Кобеко от сослуживцев по Императорской публичной библиотеке. – СПб.: Императорская публичная библиотека, 1913. С. 86-90.

Лотман Ю.М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII-начала XIX в. – М.-Л.: Академия 1962. С. 460 с.

Маковеев М. Обратить в пользу потомков // Новый мир. 1985. № 8 С. 195-213; № 9. С. 218-236.

Масанов Ю. Литературные мистификации // Советская библиография. 1940. Вып. 1 (18). С. 22-28.

Никитин Е.Н. Был ли фальсификатором В.И. Анучин // Новый мир. 1993. № 4. С. 247-249.

Отечественные записки. 1841. Т. XVI. С. 40-42.

Подлипчук Ю.В. «Слово о полку Игореве»: Научный перевод и комментарий. – М.: Наука, 2004. 327 с.

Попова И.Л. Литературная мистификация в историко-функциональном аспекте. Автореф... канд. филол. наук. М., 1992. 20 с.

Пыпин А.Н. Подделки рукописей и народных песен // Памятники древней письменности. – СПб. 1898. Т. СХХVII. С. 31-32.

Ревзин Л.Я. Бессмертный Сулакадзе // Русская литература. 1979. № 3. С. 44-52.

Рукописи, которых не было [Под ред. А.Л. Топоркова] – М.: Ладомир, 2002. 970 с.

Сандомирская И. Книга о Родине: Опыт анализа дискурсивных практик // Wiener Slawistischer Almanach. 2001. SBd. 50. 282 с.

Сперанский М.Н. Русские подделки рукописей в начале XIX века // Проблемы источниковедения. 1956. Вып. V. С.74-93.

Творогов О.В. «Влесова книга» // Труды Отдела древнерусской литературы. 1990. Т. XLIII. С. 170-254.

Тимофеев В.П. Другое Слово о полку Игореве. – М.: Вече, 2007. 432 с.

Третьяков В.К. Три рассуждения о трех главнейших древностях российских // Третьяковский В.К. Избранные произведения. – М.-Л.: Советский писатель, 1963. С. 8-9.

Уайтхед Д. Серьезные забавы. – М.: Книга, 1986. 288 с.

Фет А.А. Воспоминания. – М.: Правда, 1983. 240 с.

Шишков А.С. Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова [Изд. 2-е.] – СПб.: Российская Императорская академия, 1880. 406 с.

© Базылев В.Н., 2010